



ПРОСВЕЩЕНИЕ В ПОТЁМКАХ

18+

АТОЛИЙ АН

Просвещение в потёмках

«Автор»

2026

Ан А.

Просвещение в потёмках / А. Ан — «Автор», 2026

В Глухом Логе, деревеньке дальнего уезда, завелась ересь. Мужики Христа не славят, попу в церкви не каются, а ходят в лес к какому-то пню и поклоняются ему, как язычники. Покойников хоронят без отпевания. И, что хуже всего, поговаривают, будто там видели ведьму. По велению высшей власти, для просвещения умов, закостеневших в суеверии, снаряжается исследовательская экспедиция, дабы нести свет наук в самые дремучие углы империи.

© Ан А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ДОБЫЧА	5
ПРИБЫТИЕ	7
---	8
---	10
---	11
---	12
КРЫСОБОЙ	14
---	15
---	17
ВКУС ПАЛЬЦЕВ	20
---	22
---	24
---	25
---	26
---	27
ПРОСВЕЩЕНИЕ	28
---	30
РИТУАЛЫ	32
---	35
НЕПРОЩЕННЫЕ	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Атолий Ан

Просвещение в потёмках

ДОБЫЧА

Ночь выла. Не ветром, которого не было и в помине, а голосами — ржавыми, хриплыми, будто кто лемех плуга о камень волочил. Звук этот скрёб не по ушам, а прямо по загривку, оставляя липкий след студёного страха. Воздух отдавал горелой берестой и сладковатой прелью старого погреба.

Так пахнет то, что Господь велел земле держать в себе до Страшного Суда.

Молчан бежал, не чуя ног. Лапти скользили по мокрому разнотравью. Корневища старых ветел хватили за щиколотки, будто сама земля не пускала его, пытаясь удержать. В груди жгло калёным железом, а в боку остро кололо — верно, кость треснула, когда он кубарем катился с погоста. Он знал, выученный дедовыми побасенками: остановишься, упадешь — и та нежить, что в спину дышит, не убьёт сразу. Будет изгаляться, мучить, а лишь потом завладеет, не телом, но душой.

Позади с хрустом ломались сучья. Нечистые. Он глянул на них краем глаза ещё там, на заброшенном погосте у холма, когда они вылезли из могильной осыпи, словно дождевые черви после ливня. Серые, дымчатые, тела их текли, как воск на горячей печной заслонке. Сперва ему померещилось трое, потом — семеро. Он сбился со счета, когда ближний прыгнул по-звериному и располосовал плечо. Боль пришла не сразу — горячо плеснуло под рубаху, и только потом в глазах вспыхнул белый огонь, и Молчан взвыл.

В висках стучало молотом по наковальне: «Идут. Следом идут. Успеть бы, Христа ради». Он и сам не ведал, кого молить, коль бес уже когтями коснулся.

Парень свернул к старой церковной ограде. Святая земля. Там им хода нет. Он верил в это крепче, чем в завтрашний рассвет. Ржавые прутья вынырнули из мрака неожиданно, кованые ещё при покойном барине, местами поваленные, но всё ещё держащие круг. За ними темнел остов сгоревшей часовенки с покосившимся крестом. Крест-то покосился, да сила в нём осталась. Тут сто лет не пели, но намоленные стены еще помнили слово Божье.

Голоса мерещились отовсюду. За спиной? В уме? Молчан путался. Шёпот накладывался на вой, вой переходил в хохот, от которого волосы под шапкой шевелились. Кто они? Что они? И тут в голове прояснело холодом. Не всей сворой накидываются, а по краям заходят, пугают. Как волки скотину гонят. Что ими движет, голод? Молчан знал голод. Позапрошлую зиму хлеб с лебедой да корой мешали, пухли и мерли всем миром. Голод — советчик плохой, он и человека в зверя обращает. А тут твари бездушные. Несчастные создания. Он им даже сочувствовал. Понимал, что ими движет, и сочувствовал.

Парень почти добежал до прутьев, когда тишина упала, словно плаха на шею. Разом смолкло всё. Погоня отстала. Только в голове гудело. Молчан перевалился через ограду, распоров штанину о ржавое железо, и рухнул на колени прямо перед покосившимся крестом. Воздух выходил из груди с хрипом, словно из проколотого кузнечного меха. Тело колотила крупная дрожь, кровь с плеча капала в землю — в лунном свете чудилась не красной, а чёрной, густой.

И тут пришло.

Не боль. Не страх.

Голод.

Сперва подумалось — мутит от раны. Но в животе, открылась такая пустота, будто там была сухая печная труба, воющая от тяги. Это был не тот голод, когда брюхо к спине подводит

и хлебушка просит. Это была жажда по живому мясу. По теплой, парной, дрожащей плоти. Молчан сглотнул слюну, и она показалась ему горькой и жидкой, как вода из гнилого бочага.

Он глянул на руки, упертые в землю, и обмер. Пальцы вытянулись. Несильно, но ладонь стала уже и длинней. Ногти почернели с краев, заострились.

— Господи Иисусе... — хотел вымолвить он, но голос осел, стал низким, утробным, с хрипом, будто в горле сидела чужая глотка.

Он поднялся с колен и едва не завалился набок. Центр тяжести сместился. Молчан вдруг вырос из собственной одежды — рубаха затрещала в плечах. Кости ширились.

Он шагнул к разбитому окошку часовни и заглянул в мутный слюдяной осколок. Оттуда глядел не он. Скулы прорезались, как у покойника на третий день. Глаза горели желтым, зрачок стоял щелью. А на лбу, под кожей, набрякли две шишки, кость просилась наружу. Наметились рога.

Молчан отшатнулся от стекла, хотел перекреститься, да рука замерла на полпути. Перстосложение не шло.

Он понял.

Демоны отстали не потому, что он убежал от них. А потому, что он перестал быть добычей. Укус нечистого, царапина — что-то попало в кровь и переиначило её, рассудок заволокло туманом. Он теперь не Молчан, сын Анисьин. Он — упырь.

Несчастный зажмурился, пытаясь вспомнить молитву. «Отче наш» рассыпался в голове, как труха. На месте слов святых осталось только глухое, злое, голодное рычание, идущее от самого нутра.

Голод взвыл в нём, заглушая человеческую тоску. Это была не жажда утоления. Это была жажда погони. Хотелось слышать хруст чужой кости под зубом, чувствовать страх живой души. Молчан сглотнул, и слюна стала густой и вязкой, как овсяный кисель с кровяной сытью.

Он поднял голову, втянул носом воздух. В том направлении за оградой, в деревне, в крайней избе у Захара, ещё горел огонь. Лучину не погасили. И он услышал страх, почувствовал его нутром.

Он перемахнул через ограду обратно легко, как матёрый волк через прясло. Земля сама несла его к теплу, к добыче. Демоны больше не казались врагами. Они ждали внизу, у лога, и в их шипении Молчан — уже не Молчан — различал одно слово. Не угроза. Зов.

— Добыча, — выдохнул он чужим, низким голосом, и рот сам собой растянулся в ухмылке.

ПРИБЫТИЕ

Дорога на Глухой лог умерла засветло.

Выехали они из Губернского города в серый, промозглый рассвет, еще три дня назад. Колеса возка месили грязь, лошади фыркали, ямщик — угрюмый мужик с лицом, изрезанным глубокими морщинами, как кора старого дуба, — молчал всю дорогу. Только раз он обернулся и сказал:

— Барин, а вы точно в Глухой лог?

— Точно, — ответил Вельский, наблюдая как ямщик сплюнул через левое плечо и перекрестился.

Аркадий Петрович Вельский не верил в Бога с двенадцати лет.

В тот год его мать, урожденная княжна Оболенская, слегла с чахоткой в их имении за городом. Отец, отставной майор, выписал из Москвы лучшего доктора — немца с фамилией, похожей на покашливание, и с саквояжем, полным блестящих инструментов. Немец пускал кровь, ставил пиявки, втирал в грудь больной гусиный жир с камфарой и молился вместе с домашними перед иконой. Мать умерла в ночь на Пасху, когда колокола соседнего монастыря гремели так, что дрожали стекла. Отец после похорон запил горькую, а двенадцатилетний Аркадий подошел к домашнему иконостасу, снял лампаду и вылил масло в помойное ведро.

С тех пор его Богом стала анатомия.

К двадцати пяти годам Вельский окончил Императорскую медико-хирургическую академию с серебряной медалью, стажировался в Париже у самого Биша (тому оставалось жить всего ничего, но лекции он читал гениальные) и вернулся обратно, по собственному желанию, на малую родину в Губернский город с твердым убеждением: человек — это машина. Сложная, хрупкая, но познаваемая. Душа же есть не что иное, как сумма электрических импульсов, и когда они гаснут — угасает и человек, как свеча на сквозняке. Ни рая, ни ада, ни мытарств. Только тьма и черви.

С таким мировоззрением жить было спокойно, чему способствовала четырнадцатилетняя медицинская практика. Так можно было резать живую плоть, не боясь чего-то большего, чем просто кровь. Так возможно было смотреть в остекленевшие глаза мертвецов и видеть только трупный материал, а не «сосуд души».

Доктор ценил это спокойствие и оберегал его.

Поэтому, когда в ноябре сего года его вызвал к себе губернатор Дмитрий Алексеевич Аранчеев, Вельский не ждал ничего хорошего.

Кабинет пах табаком и мокрой шинелью. Только что снятая с плеч, она ещё курилась паром у двери. На столе, под зеленым сукном, лежала стопка бумаг — циркуляры из столицы, губернские ведомости и одно частное письмо, по состоянию которого можно было сделать вывод, что читали его не единожды. Губернатор сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и выглядел человеком, который только что нашёл решение давно беспокоящей его проблемы.

— Голубчик Аркадий Петрович, — сказал Дмитрий Алексеевич, жестом предлагая сесть.

— Благодарю, ваше превосходительство.

— Вы, доктор, человек грамотный, в Академии обучались. Скажите мне прямо: что вы думаете о новом министерстве духовных дел и народного просвещения?

Доктор помолчал. Вопрос был с подвохом.

— Думаю, что соединение духовного и светского образования под одним ведомством — эксперимент смелый и неоднозначный.

— Вот! — Аранчеев поднял палец. — Именно. А я, грешный, губернатор отдалённой губернии. Тут у нас, батенька, не Петербург. Тут у нас болота, глушь, расстояния — до самого дальнего уезда курьер скачет четверо суток с гаком. И вот представьте: в столице создают новое министерство, а я должен показать, что вверенная мне губерния — не медвежий угол, а передовой форпост просвещения.

Он взял со стола исписанный лист.

— В Глухом логе, — продолжал Аранчеев, — деревенька дальнего уезда, завелась ересь. Мужики Христа не славят, попу в церкви не каются, а ходят в лес к какому-то пню и поклоняются ему, как язычники. Рожениц к бабкам носят, а не в храм. Покойников хоронят без отпевания. И, что хуже всего, — он понизил голос, — в этом донесении указано, будто там видели ведьму.

Последнее слово он произнес с таким выражением, словно оно жгло ему язык.

— Ваше превосходительство, — осторожно начал Вельский, — ведьмы, как известно, существуют только в воображении темных крестьян и в сказках господина Гофмана.

Губернатор смерил его взглядом, затем поднялся, прошёлся по кабинету, остановился у окна.

— В свете новых веяний, доктор, я намерен снарядить в Глухой лог просветительскую экспедицию. С научными целями. Пусть в столице увидят: губерния не только устраняет последствия, но и борется с корнем зла — с невежеством.

Аркадий Петрович молчал. Губернатор расценил его молчание по-своему.

— Ежели там просто дурость и суеверие — вразумите. Ежели хуже... — он замялся. — Ежели хуже, то примените власть. С вами поедет еще один. Ученый немец. Он при Министерстве народного просвещения состоит, собирает обряды и обычаи. Ему поручено задокументировать сию дикость для потомков. Выезжаете послезавтра.

Ефим Карлович Штерн верил в науку так же истово, как его отец-пастор верил в Лютера.

Он родился в Дерпте, в семье остзейских немцев, где на полках стояли тома Гете и Канта, а по воскресеньям читали Библию на двух языках. С детства маленький Ефимка проявлял склонность к систематизации: он коллекционировал засушенных жуков, раскладывал их по коробочкам и подписывал латинские названия каллиграфическим почерком. К пятнадцати годам его гербарий насчитывал триста видов, а к двадцати — он опубликовал первую научную статью «О брачных обрядах вотяков Вятской губернии», которая вызвала живой интерес в академических кругах.

В неполные тридцать пять лет Ефим Карлович, изменив вектор своих устремлений, носил почётное звание магистра натуральной философии.

Значительная часть его сознательной жизни была посвящена одной великой миссии: развенчать суеверия. Это способствовало частым переездам и непростому, в свое время, решению, покинуть Петербург.

Штерн был убежден: все странное и мистическое имеет рациональное объяснение. Лешие — это отшельники, поселившиеся в лесу и принятые пьяным крестьянином за персонажа сказок. Домовые — скрип рассыхающихся половиц и мышьяная возня. Ведьмы — несчастные старухи, страдающие эпилепсией или эрготизмом, которых темные односельчане обвиняют в порче.

Он видел в этом не просто научный интерес, но почти религиозное служение. Суеверие, по мнению Штерна, было корнем всех зол: из-за него жгли книги, пытали еретиков, травили знахарок и тормозили прогресс. Он мечтал написать труд, который станет для русских крестьян тем же, чем стала «Энциклопедия» Дидро для французских буржуа, — факелом, разгоняющим мрак.

Когда ему предложили поехать в Глухой лог, он согласился немедленно.

— Это великолепный материал! — сказал он доктору. — Изолированная община, минимум контактов с внешним миром, сохранение архаических верований. Мы сможем наблюдать живое язычество в естественной среде!

— Мы сможем наблюдать, как мужики пьют сивуху и бьют баб, — сухо ответил Вельский.

— Остальное — плод их воображения, разогретого алкоголем.

— Вы циник, Аркадий Петрович.

— Я врач.

Штерн, придерживая руками три саквояжа с самым, по его мнению, необходимым, с интересом смотрел в окно возка.

— Любопытно, — пробормотал магистр, поправляя на носу запотевшие очки. — Листва сухая в ноябре, после недели дождей. Это противоречит элементарным законам ботаники. Влага должна была запустить процесс гниения, но мы наблюдаем...

— Ефим Карлович, — перебил Вельский, не отрывая взгляда от окна. — Помолчите.

Лес по обе стороны дороги становился гуще и темнее. Деревья стояли так плотно, что меж стволами не могло протиснуться и дитя. Их ветви сплетались над дорогой, образуя живой туннель, и свет ноябрьского солнца, и без того тусклый, почти не проникал сквозь эту кровлю. В возке стало темно и холодно.

Но они увидели...

На обочине, там, где дорога делала крутой изгиб, на одинокой голой еле была прикреплена доска. Надпись на ней гласила: «Спасайте свои души».

— Притормози, — приказал Штерн ямщику.

— Не, барин, — тот перекрестился и стегнул лошадей. — Не остановлю. Нечего тут глядеть.

— Я сказал — стой!

Но возок уже пронесся мимо. Магистр успел обернуться и посмотреть в заднее окно.

Штерн моргнул. Деревянной таблички не было. Он наблюдал только лес.

— Вы видели? — спросил он, поворачиваясь к Вельскому.

— Что? — доктор оторвался от записей. — для нас это не представляет интереса. Давайте не будем искать сакральный смысл там, где его нет.

Дальше попутчики долго молчали.

Колокольчик под дугой смолк раньше, чем показалась околица — словно подавился собственным медным язычком. Возок, просевший в осеннюю грязь по самые ступицы, встал. Вокруг, насколько хватало глаз, стлался туман — не тот, легкий городской, что тает к полудню, а плотный, желтоватый, пахнувший мокрой овчиной и торфяным дымом.

Первым на землю спрыгнул не Аркадий Петрович и не магистр Штерн, а пёс — крупный, поджарый ризеншнауцер с умными глазами-бусинами и жесткой, как проволока, шерстью цвета угля со смолюю. Звали его Парацельс, но по-домашнему — просто Цельс. Подарок кёнигсбергского коллеги, он был выучен не только подавать лапу и ходить рядом без поводка, но и, по уверению дарителя, «чувствовать натуру». Ефим Карлович в мистику не верил, но привычке доверять звериному чутью не изменял. Цельс, всегда игривый, сейчас стоял, натянув поводок до звона, и не рычал, не лаял — он молча скалился в пустоту, а холка его топорщилась гребнем.

— Не встречают, — констатировал доктор, поправляя очки.

Он и здесь, посреди безмолвных бревенчатых срубов, выглядел так, будто сидит в анатомическом театре. Его саквояж с инструментами тихо звякнул, когда он спрыгнул на землю. Спутник его спрятал озябшие руки в рукава шинели, не выпуская поводка собаки.

Они прибыли сюда «для просвещения умов, закостеневших в суеверии», как значилось в подорожной. Губернатор Аранчеев, по велению высшей власти наказал нести свет наук в самые дремучие углы империи. Деревня Глухой лог была именно таким углом.

— Самостоятельный обход, — хмыкнул Штерн, глядя на пустую улицу. Ни старухи с поклоном, ни старосты с хлебом-солью. Только ставни, закрытые изнутри, несмотря на будний день.

Ученые мужи двинулись вглубь деревни. Звук их шагов — чавканье грязи и хруст жухлой травы — казался здесь святотатственно громким. Тишина звенела, лишь изредка ее разрезал далекий, надсадный крик скотины. Цельс же вел себя странно: он не обнюхивал углы, не метил плетни, как делал в любой незнакомой местности. Он жался к ученому и временами тихо, утробно гудел — так гудят собаки на покойника в доме.

Первая, кого они увидели — старуха в черном платье, сидящая на завалинке. Она не пряла, не шила. Только сидела, сложив руки на коленях, и смотрела перед собой. Глаза у нее были белесые, как у вареной рыбы. Пес немедленно сел, будто наткнулся на невидимую стену, и замер истуканом.

— Здравствуй, матушка, — бодро начал Штерн. — Мы — ученые люди из Губернского города...

Старуха медленно перевела взгляд с магистра на пса. Ее глаза чуть расширились, и впервые в них промелькнуло что-то похожее на проблеск жизни.

— Ученая собака? — прошамкала она с неожиданным интересом. — Циркач, что ли? Плясать умеет?

— Это ассистент-зоологический, — сухо пояснил доктор. — Помощник в научных изысканиях.

Старуха вдруг подалась вперед всем телом, впила пальцами в колени и зашептала быстро, с присвистом:

— Собачка-то, она ведь чувствует, да? Чувствует самое? Пусть она на дитё Авдотьино поглядит... У нее ж, у собачки твоей, глаз-то нечеловеческий. Она увидит, есть ли в нем бес. Так, как им он мечен.

Цельс заскулил — тонко, жалобно, совсем не по-сторожевому. Попятился, натягивая поводок. Ефиму Карловичу стоило усилий удержать его на месте.

— Матушка, — более сдержанно продолжил магистр Штерн. — Мы — ученые люди из центра. Прибыли рассказать вам об устройстве мира, о том, что гром — не колесница Ильи-пророка, а электрическая сила...

Старуха медленно, как заводная кукла, повернула голову.

— Электрическая... — прошамкала она беззубым ртом. — Все это - порождение нечистой. Сказывали, в ту ночь, когда сын мельника, Молчан, сговорился с бесом, вырезав всю захаровскую семью, гроза была... И ведь электрическая.

Она засмеялась тихо, безрадостно, затем снова уставилась в пустоту.

Просветительский пыл Ефима Карловича мгновенно увял, сменившись холодком вдоль позвоночника.

Аркадий Петрович между тем застыл у покосившегося хлева. Из щели через жерди на него смотрел звериный глаз — желтый, с прямоугольным зрачком. Коза забилась вглубь стойла, жалобно бляя. Рядом стоял мужик с деревянным ведром.

— Что с ней? — спросил доктор, кивая на скотину.

— Да ничего, барин, — мужик отвел взгляд.

— Болеет?

Он нехотя наклонил ведро. В сумерках белая жидкость в нем отливала алым. Молоко с кровью. Сгустки плавали на поверхности, похожие на лепестки мака. Мужик перекрестился шепотью наоборот, слева направо, и быстрым шепотом добавил, глядя куда-то за плечо доктора:

— К ведьме на двор зашла скотинка-то. Ночью. Сосет ее кто-то. Сосет, стало быть, пока не уснет. А утречком — глядь, вымя в кровиче.

Вельский, с нескрываемой скукой, сунул руку в саквояж за ланцетом, но мужик отшатнулся от серебра, как черт от ладана. Он схватил ведро с кровавым молоком и выплеснул его на порог.

— Это чтоб не забрал никто, — пояснил он. — Упырь-то, он всегда след молока и крови чует. Тут по-дедовски надо. А инструмент ваш, барин, здесь не поможет.

Штерн перебирал в голове подходящие ученые термины для вразумления мужика, но доктор жестом осек его. Только время попусту тратить.

Обход продолжался. Людей встречали не много. Авдотья к младенцу пришельцев не пустила. Только сильнее прижала к груди, а потом и вовсе скрылась за дверь своей избы. Две бабы у сухого колодца, поведали новоприбывшим давнее местное поверие, «Про Молчана - упыря».

Деревня жила своей жизнью, в которую их, носителей света, попросту отказывались впускать.

Ничего необычного, только сказки, слухи и суеверия. Но необъяснимая тревога лишь нарастала.

Смеркалось стремительно, будто кто-то прикрывал небо гигантской заслонкой. У последнего дома, где, судя по всему, начиналась болотная местность, туман был особенно густ. Дорогу ученым преградил взъерошенный парень с выпученными глазами. Он тяжело дышал, от него разило перегаром и лошадиным потом.

— Там, на бугре, — зашептал он, хватая Штерна за лацкан, — там огонь горел синий. Я видал. Пошел с фонарем, а он — раз! — и рассыпался по кустам, да к старой могилке. А на ней земля-то как вскипела! Шевелится, господа хорошие! Пойдёмте, я покажу!

Ученые переглянулись. Штерн пытался заговорить, но слова застряли в горле. Ведь с холма, куда указывал парень, впрямь тянуло ледяным смрадом свежеразрытой могилы. И в этом запахе, в этом гнилом тумане, в этой безумной, животной тишине Губернский город показался им обоим чем-то невероятно далеким, игрушечным и нереальным. Здесь же, все ощущалось настоящим. И теперь возможно было поверить в любую сказку.

КРЫСОБОЙ

Парацельс почуял первым, заскулив — тонко, почти беззвучно, одним носовым свистом. Шерсть на загривке поднялась частоколом еще до того, как туман впереди сгустился в человеческую фигуру.

Из молочной пелены, опираясь на суковатую палку, вышел старик. Он был преклонных лет, но движения были уверенные, бодрые. На темном лице, словно его коптили над торфяным дымом, белела седая, окладистая борода, в которой запутались хлебные крошки. Одет был не в зипун, как прочие, а в долгополый кафтан старинного покроя, мышиноного оттенка. Глаза — светлые, выцветшие до прозрачности, и глядели они не на приезжих, а словно сквозь них, в некую точку за горизонтом.

— Будет тебе, псина ученая, — произнес незнакомец неожиданно глубоким, без старческой дрожи голосом. — Не вой. Я пока живой.

Цельс смолк мгновенно. Просто перестал издавать звуки и замер, будто аршин проглотил. Только ноздри ходили ходуном, втягивая запах.

— Магистр Штерн, ежели не ошибаюсь? — старик чуть склонил голову набок, и в этом движении было что-то птичье. — И доктор медицины Вельский.

— Все так. — машинально ответил Ефим Карлович.

— Ждали-с. Сорока на хвосте принесла, что едут к нам разумные люди. А я тут за разумного и числюсь. Дед Михей, старейшина здешний. Прошу в дом, господа.

— Могу я узнать ваше полное имя? — поинтересовался Аркадий Петрович.

— Михаил Севостьянович Борзый. Ежели будет угодно. Негоже ученым беседовать на пороге. А ты, Елисей — он посмотрел на парня — иди и прописись хорошенько!

Староста развернулся, не дожидаясь ответа, и застучал палкой по утопанной земле. Перечить его словам было невозможно — старик, казалось, просто констатировал неизбежное. Штерн и Вельский переглянулись и двинулись следом. Цельс пошел последним, опустив голову и прижимаясь боком к ноге хозяина. Елисей с безумным взглядом стоял в одиночестве, окутанный туманом.

Изба старейшины стояла на отшибе, чуть на взгорке. Не покосившаяся, как соседние, а крепкая, ладно срубленная, но с одной странностью: в дверь был вбит ржавый кованый гвоздь. Над окнами — пучки зверобоя и чертополоха, перевязанные красной суровой ниткой. Магистр хмыкнул в усы: «Суеверие дикое», — но хмыкнул тихо, почти про себя.

Внутри было неожиданно чисто и тепло. Пахло сушеными травами, воском и чем-то еще — терпким, смолистым, лекарственным. У стены — горка с глиняной посудой, на столе — медный самовар, уже потухший, и три щербатые чашки, расставленные загодя. Словно и впрямь ждали. У печи, на лавке — стопка старых книг. Аркадий Петрович скосил глаза: Четы-Минеи, травник в кожаном переплете, какой-то рукописный свиток.

— Садитесь, господа хорошие. Сейчас взвару налью. С холода-то самое оно.

Дед Михай двигался неторопливо, но без суетливости дряхлого человека. Разлил по чашкам темный, пахнущий вишневым листом и медом взвар. Цельс, не сводя глаз со старика, улегся у ног Ефима Карловича, положил морду на лапы и тяжело вздохнул — не расслабленно, а обреченно, словно смирился с тем, что отсюда не уйти.

— Благодарим за гостеприимство — попытался начать разговор Штерн.

Старик, словно не услышав:

— Странно у нас, господа ученые, — начал старейшина, усаживаясь напротив и обхватывая чашку узловатыми пальцами. — Вы уж не сердчайте, что не встретили с караваем. Народ у нас теперь... дикий стал. Бойтся. А вам, я так понимаю, велено нас просветить? Науки показать? Показали уже?

Он усмехнулся в седую бороду, и улыбка эта вышла не веселой, а понимающей.

— Показали, — сухо ответил Вельский. — Молоко с кровью. Младенец меченый, синие огни на погосте. Еще упыри.

— Ага. Значит, полный набор, — дед Михай отхлебнул взвару. — Вот об этом я и толкую. Вы, господа, думаете: дичь, мракобесие, бабьи сказки. А я вам так скажу: я, старый, в ваших науках ни бельмеса не смыслю. Но я тут живу шестьдесят первый год. И кое-что понять успел. Хотите — расскажу, как оно у нас на самом-то деле?

Он не спрашивал разрешения. Он просто сделал паузу, чтобы набить трубку — длинную, с обкусанным мундштуком. Закурил. И начал говорить.

— Вы про упырей да ведьм, поди, наслушались уже. Так вот — нет у нас здесь ни тех, ни других. В том смысле, как вы их понимаете — баба на помеле да мертвяк с клыками. Враки это. А есть у нас... как бы вам объяснить... нарушение естества. Вот вы, доктор, тело человеческое знаете. Что бывает, когда кровь не туда течет? Закупорка. Воспаление. Антонов огонь. Так?

Вельский кивнул, невольно поданный вперед.

— Так и тут. Только не в теле — в земле. Земля у нас, господа хорошие, непростая. Есть в ней что-то... лишнее. Лишняя сила. Она течет, как подземная река, и где застаивается — там начинается непорядок. Коза кровью доится не потому, что ее ведьма сосет, а потому что трава такая выросла на той силе. Дети со знаком зверя не от беса, а от того, что зачаты в неправильную ночь на неправильном месте. А синие огни на бугре... — он затянулся, и огонек трубки на миг осветил его лицо снизу, сделав похожим на старую икону, — ...это сама земля дышит. Выдыхает то, что накопила. Все зло мирское.

Он сделал паузу, стряхивая пепел в глиняную плошку.

— Я тут, почитай, главный лекарь. Не такой, как вы. По-вашему — знахарь, шарлатан. Но помогаю. Почему? Потому что я не с болезнью борюсь, я с этой самой силой договариваюсь. Где отвести, где успокоить, где задобрить. Это, господа, если на ваш лад переложить — вроде

мелиорации. Осушение болот. Только болота у нас не водные, а, почитай, духовные. Хотя и иные имеются.

Штерн хотел возразить, но Аркадий Петрович его опередил:

— Вы говорите о подземных водах в метафорическом смысле или предполагаете некое реальное геологическое излучение? — голос доктора звучал сухо, но цепко.

Дед Михей пожевал губами.

— Экий вы скорый. Я ж говорю — не смыслию я в ваших словах. Но вот вам факт, доктор. В позапрошлом годе землемеры из губернии приезжали. С приборами. Компас у них тут с ума сошел — стрелка вертелась волчком. Один господин сказал: «Магнитная аномалия». Другой — «Подземная руда». Третий просто перекрестился и уехал до срока. А я вам скажу: и руда, и аномалия, и еще кое-что третье, чему в ваших книжках названия пока не придумали. Оно здесь было всегда. И до нас было, и после нас останется.

Старейшина вдруг перевел взгляд на Цельса. Пёс, почуяв внимание, поднял голову и тихо зарычал — глухо, утробно, без злобы, но с явным предупреждением.

— Вот, глядите. Собачка ваша ученая. Сколько слов знает? Двадцать? Тридцать? А то, что здесь разлито, она чует безо всяких слов. И сказать вам хочет, да не может. А я — могу. Только вы слушать не желаете.

Повисла тяжелая тишина. Взвар остывал в чашках. Самовар тихо, по-стариковски, вздохнул, выпуская остатки пара. За окнами окончательно стемнело.

Не в силах более сдерживаться доктор Вельский выпалил:

— Чушь! — хотя голос его дрогнул. — Молоко ваше порченное - это мастит. Обыкновенное воспаление вымени. От антисанитарии. Огни на погосте - болотные газы и фосфоресценция гниющих пней. У младенца просто родимое пятно! И мы с Ефимом Карловичем понимаем все это, даже еще не вдаваясь в детали!

— Я к чему вас позвал, господа просветители, — дед Михей подался вперед, словно не услышав сказанное и голос его упал до шепота. — Вы завтра начнете народ собирать, лекции читать, опыты показывать. Это дело хорошее. Я не против. Но я вас Христом-Богом прошу: не говорите им, что ничего нет. Не говорите, что все это — мракобесие и фантазия. Потому что оно — есть. И если человек про это забудет совсем — оно обидится. И придет за ним. Уже приходило.

Старейшина впился взглядом в доктора:

— Вы ведь не видели Авдотьиного младенца? Так?

— Нам не дали возможности посмотреть на него. Но в этом нет особой необходимости. Я же сказал, родимые пятна часто...

— Нет у Авдотьи никакого младенца — грубо перебил Вельского дед Михей.

— Как так? Эта женщина держала его на руках — вмешался Штерн!

— Уж лет пять, как нет. В Глухом логе вам не доведется встретить ни одно дитя.

Гостей передёрнуло. Они не успели ничего спросить.

Старейшина откинулся назад, снова превратившись в сухонького безобидного старичка. Взял чашку, отхлебнул.

— А теперь — ужинать. Уха у меня из печи, сметки сушеные, каша с тыквой. Чем богаты. А после — баньку истоплю. Вам, городским, полезно — дурь из головы выгонит. Ночлег для вас мои сыновья сготовят. Скоро освободятся. Познакомитесь.

За окнами избы окончательно легла тьма — глухой, беззвездный вечер, какой бывает только вдали от городов. Ветер то затихал, то вдруг принимался тонко подвывать в печной трубе, и тогда Цельс поднимал голову, недовольно поводит ушами и снова ронял морду на лапы.

После ухи, густой и наваристой, после гречневой каши с тыквой и тыквенной же наливки — терпкой, с горьковатым привкусом, который, впрочем, чувствовался во всей еде — разговор потек иначе. Ученые гости обмякли. Штерн расстегнул верхнюю пуговицу камзола. Аркадий Петрович, обычно прямой как жердь, откинулся к стене и рассеянно чесал Цельса за ухом. Дед Михей раскурил вторую трубку и, глядя в остывшее нутро самовара, замолчал надолго.

Магистр Штерн не удержался:

— А как же упыри?

— Что? — не сразу сообразил старейшина.

— Ну вы дали на все вопросы свое объяснение... Кроме баек про упырей.

— Вы, господа, давеча мои истории слушали с усмешкой, — начал дед Михей вдруг, не поднимая глаз. Это я вам, как бы сказать, для затравки дал. Для разгона. Чтобы вы сперва не слишком пугались. А теперь, коли не устали, расскажу другое. Без метафор. Как на духу. Про то, что с нами здесь было.

Он помолчал, пожевал мундштук.

— Вы люди ученые. Книжки читаете. Может, слышали такую байку матросскую — как на кораблях с крысами борются?

Вельский едва заметно напрягся. Флотским врачом он не служил, но среди коллег по Медицинской коллегии слышал об этом способе. Кивнул.

— Расскажите, — тихо попросил Ефим Карлович, чувствуя, что старик неспроста завел этот разговор.

— А дело простое, господин магистр, — дед Михей выпустил струю дыма ровно в потолочную балку. — Плывет корабль. Месяц плывет, другой. Трюмы полны зерна и провианта. И крысы, ясное дело, тут как тут. Жрут припасы, гадят, плодятся. Матросы их травят, ловят — без толку. Тогда боцман, старый морской волк, делает вот что. Берет бочку из-под солонины. Большую, дубовую, с толстыми обручами. Ловит десятка полтора крыс — живьем. Запихивает в бочку, заколачивает наглухо. Ни воды им, ни еды. Только темнота и теснота. И оставляет. На неделю. На две. На три.

Он отложил трубку. Голос его стал ниже, глуше, словно он рассказывал не морскую байку, а страшную сказку на ночь.

— Первые дни в бочке возня, писк, драка. Крысы чувят, что их заперли, мечутся, царапают доски. Потом — тишина. Они начинают жрать слабейших. Спервадохлых. Потом живых. Грызутся насмерть. К концу второй недели в живых остается две-три. К концу третьей — одна. Всегда одна. Самая сильная? Нет, господа. Самая хитрая. Самая терпеливая. Самая... голодная.

Старик кивнул, будто сам себе и продолжил:

— Через три-четыре недели боцман велит бочку открыть. Матросы стоят с дубинами, ждут. Выбивают дно. И оттуда... — он подался вперед, и гости невольно сделали то же, — оттуда выходит не крыса. Выходит нечто. Существо с безумными красными глазами. Оно не боится людей. Оно не прячется. Оно не ест зерно и сухари. Оно хочет только одного — убивать других крыс. Потому что оно забыло все остальное. Забыло, как жить в стае. Забыло, как жрать обычную пищу. Оно знает только вкус крысиной крови. И эту тварь выпускают в трюм. Она идет по кораблю и режет сородичей. Не ради еды — просто убивает. День за днем. Пока всех

не изведет. А когда крыс не остается... эта тварь умирает сама. От голода. Потому что ничего другого она уже не может. Не умеет. Ее создали, чтобы убивать, и она умеет только это.

Повисла тишина. Полено в печи треснуло, выбросив сноп искр. Штерн кашлянул, хотел что-то сказать о моральной дилемме, о недопустимости подобных методов даже среди животных — но дед Михей поднял ладонь, и магистр умолк.

— А теперь слушайте, господа ученые, — сказал старейшина, и в голосе его больше не было ни теплоты, ни хлебосольства. — Вы все думаете: зачем старый пень морскую байку травит? А затем, что у нас здесь, в Глухом логе, давным-давно было то же самое. Только не в бочке. И не с крысами.

Он встал — впервые за вечер в полный рост, оказавшись неожиданно высоким, жилистым, с широкими плечами, которых прежде не было видно под кафтаном.

— Голод у нас был. Страшный. Два года неурожая подряд. Вы, небось, в Губернском городе вашем про такие и не слыхивали — у вас, ежели что, подвезут. А сюда, в глушь, не доедет ничего. Снегом заносит дороги по самый конек. К той весне в деревне из ста восьмидесяти душ осталось сорок шесть. Остальные — на погосте. И те, кто выжили, выжили не все одинаково.

Он обернулся к окну, за которым была только чернота.

— Был у нас мужик. Савелий. Кузнец. Здоровый, добрый, детей полный двор. Когда голод начался, он последнее с соседями делил. Ему говорили: «Савелий, побереги своих-то». А он: «Бог не выдаст». И не выдавал — до поры. А потом... когда у него у самого трое младших с голоду померли один за другим, когда жена от горя тронулась умом — он переменялся. Исчез на неделю. Думали — в лес ушел, на болоте сгинул. Вернулся. Худой, черный, глаза — во-от такие. И начал.

Старейшина повернулся и посмотрел прямо на доктора.

— Он пошел по домам — к тем, кто еще держался. И стал забирать у них еду. Не просить — забирать. Сначала у самых слабых. Потом у всех подряд. Он рассуждал так: вы все всё равно сдохнете, а я — я сильный. Я должен жить. Он бил стариков и забирал у них последнюю горсть муки. Он отнимал хлеб у детей. Он построил у себя в кузнице ледник и складывал туда все, что забирал. Много не ел даже — копил. Прятал. Охранял. А когда двое мужиков попытались его образумить — он взял кузнечный молот и убил обоих. Просто, как мух прихлопнул. Без злобы. Без радости. Поговаривали, тела разделал на туши. Слухи ходили. Потому, как трупов, никто так и не видал.

Дед Михей вернулся к столу, но садиться не стал. Стоял, опираясь кулаками о столешницу, нависая над гостями.

— Когда голод кончился и подвезли зерно из губернии — Савелий не вышел к обозу. Он сидел в своей кузнице среди запасов, которых хватило бы на три зимы вперед. Он не мог их есть. Он не мог с ними расстаться. Он смотрел на людей, которые пришли к нему с хлебом и миром, — и видел врагов. Он, как та крыса из бочки, забыл все остальное. Забыл жалость. Забыл Бога. Забыл, как быть человеком. Он знал только одно: вокруг — чужие, у них надо все отнять, иначе сам оголодаешь.

— Что с ним стало? — тихо спросил доктор.

Старейшина помолчал. Потом поднял глаза — и в них стояла такая старая, выстоявшаяся боль, что доктор невольно отвел взгляд.

— А что с той крысой стало, когда всех сородичей порешила? Сдохла. Савелий тоже сдох. Его связали, пытались кормить с ложки — он плевался, кусался, кричал, что его травят. Прожил еще месяца два. Умер в той же кузнице, на мешках с гнилой мукой. Один. А что самое страшное, господин магистр... — он повернулся к Штерну, и тот невольно отшатнулся, — самое страшное не в том, что он стал зверем. А в том, что любой из нас мог стать таким. Любой. И вы — могли бы. И вы, — он ткнул чубуком в сторону доктора. — И я.

Он выпрямился и обвел рукой стены, окна, всю деревню за ними.

— Вы приехали учить нас, что человек — венец творения. Что он разумен. Что он отличается от скота бессмертной душой. А я вам так скажу: Мир — это бочка. Человек — крыса. Заприте его, отнимите надежду, заставьте выбирать между смертью и зверством — и через три недели дно вылетит. И то, что оттуда выйдет, уже не будет человеком. Это будет чудовище на двух ногах. Это будет наша деревенская крыса. И она пойдет убивать.

Он тяжело опустился на лавку, взял остывшую трубку, повертел в пальцах. Добавил глухо:

— Вот поэтому я вас и позвал, господа просветители. Не затем, чтобы лекции запрещать. А затем, чтобы вы поняли: здесь, в Глухом логе, голод был. Многие помнят. И многие из тех, кто выжил — выжили неправильно. И теперь их дети, внуки... они какие-то... — он замялся, подбирая слово, — ...тонкокожие. У них защита от этой подземной силы тонкая. Они чувят ее острее. И когда приходит темное время — неурожай, мор, падеж скота — в них просыпается та самая крыса. Не в переносном смысле — в самом прямом. Вы по деревне ходили, кое-что видели. Это все звенья одной цепи. Это голод возвращается. Не отсюда, — он постучал пальцем по столу, — а оттуда, — и постучал себя по лбу.

ВКУС ПАЛЬЦЕВ

Звук ударил откуда-то сверху — густой, медный, протяжный. Он не плыл над деревней, как обычный колокольный звон, а словно падал с неба отвесно, вдавливая воздух в землю. Целый взвился на лапы, шерсть на хребте встала дыбом, из горла вырвался короткий, хриплый лай. Аркадий Петрович, вздрогнув, схватился за край стола — чашки жалобно звякнули.

— Мать честная, — старейшина резко обернулся к окну, за которым не было видно ни зги. — Вот старый дурень! Засиделись мы с вами, господа хорошие. Запомню напроць! На баньку сегодня более время нету!

Он уже был на ногах — двигался с той внезапной, пугающей скоростью, на какую способны только глубокие старики в минуту опасности. Схватил с припечка пучок сухих трав, перетянутых красной ниткой, и, не глядя, сунул доктору в руки.

— Держите пока. После повесите. На дверь, снаружи, на кованый гвоздь. Сыновья покажут.

— Какой колокол? — Ефим Карлович растерянно поднялся, одергивая камзол. — Церковный? Здесь есть церковь?

— Нет у нас церкви, — бросил старейшина через плечо, уже у двери. — Сгорела в голодный год. Есть лишь полуглая просвирня Марфа — старуха, которая выпекает просфоры. И колокол есть. На столбе висит, у околицы. Звонит не к обедне. Звонит — к Глашину часу.

Он распахнул дверь в сени и крикнул в темноту — без надрыва, но так, что эхо прокатилось по всему дому:

— Захар! Платон! Живо! Хватит дрыхнуть, мать вашу!

Ответом были торопливые шаги — тяжелые, по скрипучим половицам. Из темноты выступили двое. Старший, Захар — кряжистый, бородатый, с тяжелым взглядом исподлобья, весь в отца, только что не сухой, а налитый медвежьей силой. Младший, Платон — жилистый, верткий, с нервным ртом и бегающими глазами, беспрестанно облизывающий губы.

— Вот, сыновья мои, — представил дед Михей без церемоний. — Проводите гостей до ученого дома. Того, что мы для них обустроили, у старой мельницы. Быстро. После третьего удара — сами знаете.

Второй удар колокола прозвучал именно в этот момент — долгий, затухающий, с подымающей нотой на излете. И наступила тишина. Абсолютная. Даже ветер стих.

Захар молча кивнул и шагнул к выходу, на ходу набрасывая тулуп. Платон зажег фонарь — не обычный, а какой-то странный: стекло в нем было синее, густого индигового цвета, и свет он давал не желтый, а холодный, мертвенный, словно болотный огонек.

— Оберег не забудьте, — напомнил старейшина, уже связывая пучки трав для собственной двери. Двигался он машинально, явно делал это не впервые. — То, что я вам дал, — зверобой с чертополохом, на красной нитке. На дверь ученого дома повесьте снаружи. Не поверху — а ровно на уровне глаз. И нитку не обрывайте, узлом завязывайте.

— Оберег от чего, Михаил Севостьянович? — спросил Вельский, машинально взвешивая пучок на ладони. Пахло от него терпко, горько, аптечно.

Дед Михей на секунду замер, обернулся. В синем свете фонаря лицо его казалось вырезанным из старого дерева — каждая морщина глубока, как шрам.

— От Глаши.

Он заговорил быстро, вполоборота, одновременно завязывая узлы на своей двери — слова падали в такт движениям:

— Была у нас тут, лет сто тому, колдунья. Глафира, по-уличному — Глаша. Не сказки, не брешут. В метрической книге записана. Знахарка сильная, да только сила ее от темного корня шла. Когда помирала — не взяла ее земля. Не приняла. Ушла на болота, в самое сердце топи,

где ель стоит — черная, сухая, без единой иголки. Глашина ель называется. В ней теперь вся сила ее и сосредоточена. Корнями — в гнилой воде, вершиной — в небе. А сама Глаша между ними, как дым, висит. Не живая, не мертвая. Спит днем. А после третьего звона колокола — просыпается.

Он затянул последний узел, дернул — проверяя на прочность — и выпрямился.

— После третьего удара никто из домов не выходит. Таков закон. Не потому, что боимся — а потому что умные. Глаша ищет себе вместилище. Живое тело. Скотина не годится — скотина глупая. Ей человека подавай. Зайдет в того, кто на улице после звона остался, — и все. Нет больше человека. Ходит вроде он, говорит, ест, спит. А глаза уже не его. Она его изнутри, как платье, носит. Вот для того и оберег. Трава освященная, нитка красная. Глаша через них пройти не может. Ни внутрь, ни наружу. До рассвета.

— Но вы же сказали, нет у вас здесь никаких ведьм! — недоумённо заметил Штерн.

— Я сказал, в привычном понимании, нет! Люди могут верить в одно и то же, но обзывать то разным словом.

Старейшина перекрестился — быстро, скупно, по-деловому — и посмотрел на сыновей.

— Все. Идите. И помните: ежели по дороге услышите, что вас по имени кличут — не оборачивайтесь. Никто. Хоть мать родная позовет. Это она, Глаша, голоса примеряет. Поняли?

Аркадий Петрович хотел упрекнуть старика в антинаучности. Но рот не открылся. Что-то в деловитости, с которой эти люди соблюдали ритуал, в том, как Захар проверил топор за поясом, а Платон поправил синее стекло фонаря, заставило его промолчать. Вместо слов он крепко сжал пучок травы в кулаке, накинул шинель и шагнул за сыновьями старейшины в холодную, звонкую, непроглядную тьму.

Цельс пошел рядом с Ефимом Карловичем, прижимаясь боком к ноге хозяина. Он не рычал. Не скулил. Он дышал часто и мелко, высовывая язык, и смотрел строго вперед — туда, где за околицей, за черным провалом болот, возвышалась, должно быть, та самая ель. Сухая. Мертвая. Ждущая.

Фонарь с синим стеклом раскачивался в руке Платона, и от этого весь мир вокруг дергался, плыл, двоился. Ученая братия шла молча, стараясь не отставать от широкого шага Захара. Дорога заняла не больше четверти версты, но в полной тьме, под низким, давящим небом, каждый шаг казался вечностью.

— Пришли, — буркнул Захар, останавливаясь так резко, что доктор едва не врезался в его спину.

Дом выступил из темноты неожиданно — приземистый, но крепкий, пятистенок с резными наличниками. Видно было, что его готовили к приезду гостей: крыльцо выметено, на окнах — новые, еще не потемневшие ставни.

— Заходите, господа. Топлено с утра. Вода в кадке, лучины на полке, свечи на столе. Снедь под рушником, — доложил Захар без всякого подобострастия, а затем, понизив голос, добавил то, ради чего они здесь задержались. — Оберег вешайте. Сейчас. До третьего звона. Вешайте!

Доктор кивнул, извлек из-за пазухи пучок трав, врученный дедом Михеем, и шагнул к двери. Вблизи она оказалась обита железными полосами, с тяжелым кольцом вместо ручки. Справа от дверного косяка, чуть выше уровня глаз, торчал кованый гвоздь с широкой шляпкой. Задача была левая. Аркадий Петрович взялся за нее с той деловитой уверенностью, с какой обычно закатывал рукава перед вскрытием — просто, быстро, без суеты. Но пальцы, закованные на осеннем ветру, не слушались. Красная нитка скользила, не желая затягиваться в узел.

— Позвольте, — Штерн мягко тронул его за локоть. — Я сам закреплю как полагается. А вы, доктор, зайдите внутрь. Осмотритесь.

Вельский, чье терпение к любым проволочкам было минимальным, с готовностью отдал оберег и толкнул дверь от себя. Цельс, не дожидаясь команды, шмыгнул внутрь — быстрее обычного, словно рад был убраться с открытого пространства. Доктор вошел следом, дверь за ним мягко притворилась, оставив магистра наедине с ночью.

— Ну, что? — Платон зябко переступил с ноги на ногу. — Справитесь, барин? Нам бы тоже воротиться, пока тихо.

— Справлюсь. Ступайте. Благодарю за проводы.

Сыновья переглянулись. Захар хотел что-то сказать, но лишь крякнул, развернулся и зашагал обратно во тьму. Платон еще секунду помедлил, глядя на магистра круглыми, испуганными глазами, и засеменил следом за братом. Синий огонек фонаря поплыл прочь, становясь все меньше, пока не исчез вовсе. Штерн остался один.

Он постоял немного, прислушиваясь к звукам. Тишина звенела — та особенная, ватная тишина, какая бывает только перед грозой или большой бедой. Где-то в глубине дома скрипнула половица — это доктор ходил, осматривая жильё. Чуть слышно тявкнул Цельс.

И тогда магистр принял решение.

Это был не страх и не бравада — скорее холодный, почти лабораторный расчет. Эксперимент. Проверка гипотезы. Он, Ефим Штерн, магистр натуральной философии, ученик великого Эйлера, не мальчик, чтобы верить в болотных колдуний. Если здесь и есть что-то — электромагнитная аномалия, подземные газы, особый состав почвы — он должен зафиксировать это в чистом виде. Без оберегов. Без суеверий. На открытом воздухе. Пусть колокол звонит. Пусть наступает полночный час. Он будет стоять на крыльце и смотреть в темноту. И ничего не произойдет. Потому что нечему происходить.

С этой мыслью магистр аккуратно положил оберег на перила крыльца — не выбросил, лишь отложил в сторону, как откладывают ненужный пока инструмент. Сложил руки на груди. Прислонился плечом к дверному косяку. Приготовился ждать.

Ждать пришлось недолго.

Колокол ударил без предупреждения — не так, как раньше, не с неба. Теперь звук шел от земли, низом, словно били не в колокол, а в огромный, врытый в почву чугунный котел. Гул прокатился сквозь ступни, сквозь кости, сквозь зубы. Штерн почувствовал его всем телом — и невольно выпрямился, разжав руки.

Третий удар.

Тишина. Ничего.

Магистр выдохнул — и поймал себя на том, что все это время не дышал. Сердце бухало в груди, но разум оставался ясным. Он усмехнулся в темноту, почти торжествуя. Вот так рассеиваются вековые суеверия — не лекциями, а личным примером.

— Ефимка...

Голос. Женский. Молодой. До боли, до спазма в горле знакомый. Такой, каким он запомнил его тридцать с лишним лет назад, когда был маленьким мальчиком в Дерпте, в тесной коморке при отцовской церкви. Матушка. Его матушка, умершая в родах, когда ему не исполнилось и пяти лет. Та, чьего лица он уже не мог вспомнить, но чей голос — оказывается — еще знал.

— Ефимка... что же ты... на холоде-то... иди ко мне...

Звук шел от опушки. Из темноты. Не изнутри головы — нет, он был внешним, пространственным, у него был источник! Штерн физически ощутил, как воздух колеблется, разнося эти слова. Теплые волны касались его щеки, словно дыхание.

Рука сама метнулась к перилам, где лежал оберег. Пальцы, еще минуту назад такие ловкие, стали чужими, непослушными. Нитка путалась. Пучок трав крошился в ладони, роняя горькую пыльцу. Магистр не вешал — он вколачивал оберег на гвоздь, ломая стебли, раздирая красную нить на волокна. Узел. Еще узел. Кое-как. Неправильно. Только бы держался. Только бы сработало.

Теперь голос будто звучал совсем рядом — у самого забора.

Штерн рванул дверь. Ручка-кольцо вывернулась из мокрой ладони, он ударился плечом о косяк, ввалился в сени боком, теряя равновесие, и с грохотом захлопнул дверь за спиной. Засов — на ощупь, в полной темноте, — вошел в паз с железным лязгом.

Ученый стоял, привалившись спиной к двери, и пытался отдышаться. Сердце колотилось где-то в горле. Ноги подкашивались. По лицу градом катился пот, хотя на улице было едва ли выше нуля. Снаружи — тишина.

И тут он услышал шорох за дверью. Тихий, сухой, как осенний лист по земле. Это оберег — сорвавшись с гвоздя, — упал на каменный порог. И остался лежать там.

Штерн зажмурился.

Дверь в горницу отворилась. На пороге стоял Аркадий Петрович с солевой свечой в руке. Увидев лицо магистра — бледное, с выступившей испариной, с дикими, расширенными зрачками, — он как будто все понял без слов.

— С вами ничего не случится, Ефим Карлович, если на двери не будет оберега и вы не покинете улицу после третьего звона? — тихо, с лёгкой улыбкой спросил доктор.

Штерн сглотнул. Взяв себя в руки, ответил:

— Пойдемте спать.

Свеча в руке доктора дрогнула.

Комната магистра была второй от входа — узкая, с единственным оконцем, выходящим на задворки. Обстановка скудная, но опрятная: лавка с высокой деревянной спинкой, грубо сколоченный стол, табурет, на стене — пучок уже знакомого сухого зверобоя. На столе — оплывшая свеча в медном шандале и кувшин с водой.

В соседней комнате, отделенной тонкой дощатой перегородкой, уже посапывал доктор. Умаялся. Аркадий Петрович обладал счастливой способностью засыпать в любых обстоятельствах — хоть на корабельной койке, хоть в кресле анатомического театра, хоть на лавке в крестьянской избе. Тем более, если помочь организму опийной настойкой, которую Вельский предусмотрительно возил с собою вместе с прочими лекарствами. А так, как один пузырек успел куда-то запропасться, пришлось почать другой, из драгоценных запасов, хранившихся в саквояже.

Ефим Карлович завидовал ему в такие минуты.

Он сидел на краю кровати, не раздеваясь, лишь скинув сюртук и ослабив шейный платок. Свеча горела неровно, подрагивая на сквозняке, и по бревенчатым стенам метались тени — длинные, ломкие, беспокойные.

Рациональный ум, взращенный за сознательные годы, требовал объяснения. Акустическая иллюзия. Ветер в кронах деревьев, случайно сложившийся в осмысленную речь. Газ, поднимающийся с болот и воздействующий на височные доли мозга. Внушенное ожидание: ему сто раз повторили про голоса — и он их услышал. Самовнушение. Чистой воды самовнушение.

Он почти убедил себя. Почти.

Цельс вошел бесшумно, как умеют только собаки его породы — крупные, но удивительно деликатные в движениях. По старой, еще петербургской привычке он забрался под кровать магистра. Там, в тесном пространстве между полом и дощатым днищем, было его законное место. Узкое, темное, безопасное. Цельс покрутился, вздохнул и затих.

Магистр погасил свечу. Темнота обступила его — густая, деревенская, без единого проблеска. Он лег, укрылся колючим овечьим одеялом и, повинувшись безотчетному порыву, свесил руку с кровати вниз, в темноту.

Через мгновение горячий, шершавый собачий язык коснулся его пальцев. Раз. Другой. Цельс облизывал ладонь неторопливо, основательно — узнавал, приветствовал, успокаивал. Это был их ритуал: когда магистру не спалось, он опускал руку, и пёс напоминал ему, что он не один.

Штерн выдохнул. Напряжение, державшее его тело в тисках весь вечер, начало отпускать. Веки налились тяжестью. Он заснул.

Первый раскат грома разорвал небо, как пушечный выстрел.

Магистр подскочил на кровати, не понимая, где находится. Молния полыхнула за окном, на миг осветив комнату до последней щели в половицах. Потом — второй удар, глуше, дальше. И сразу — дождь. Не мелкий осенний дождик, а настоящий ливень, хлесткий, яростный, барабаниющий по тесовой крыше так, словно в нее швыряли пригоршнями гальку.

Где-то в доме — кажется, ближе к сениям — послышался тихий, неровный журчащий звук. Кап-кап-кап... Крыша прохудилась. Вода нашла путь внутрь.

Ефим Карлович не глядя, еще во власти полудремы, свесил руку вниз. Язык Цельса снова коснулся ладони — влажный, теплый, узнающий. Магистр вздохнул, пробормотал что-то неразборчивое и провалился обратно в сон.

Ему снился Петербург. Непарадный, не тот, что на гравюрах, — а промозглый, серый, с ледяной крупкой, секущей лицо. Ему снилась Большая Морская, тусклый фонарь, лужа у мостовой — и она, Елизавета. Та, о которой он запретил себе вспоминать. Он стоял на мосту через Мойку, смотрел вниз, в черную маслянистую воду, и вдруг вода расступилась, и оттуда, снизу, потянулась белая рука. Пальцы — длинные, с синими ногтями. И голос Елизаветы — какой-то полый, доносящийся из глубокого колодца: «Я же тебя любила... А ты меня анатомам отдал...»

Он проснулся в холодном поту. Рубашка прилипла к телу. Сердце колотилось где-то у самого горла, мешая дышать.

Дождь за окном стихал, переходя в редкую, ленивую капель. Из прохудившейся крыши теперь не журчало — только мерно, с равными промежутками, падали тяжелые капли: Кап. Кап. Кап.

Рука привычно скользнула вниз, под кровать. Цельс отозвался немедленно — язык прошелся по пальцам, на этот раз дольше, настойчивее. Пёс будто чувствовал его состояние. Магистр перевел дыхание, утер лоб рукавом и снова закрыл глаза. Сон возвращался медленно, нехотя, как незванный гость, но все же возвращался.

Спал беспокойно.

Пробуждение было внезапным — без перехода, без дремотной мути. Просто раз — и он уже лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок.

Что-то изменилось.

За окном светало. Серый, водянистый рассвет сочился сквозь мутное стекло, размывая контуры предметов. Дождь кончился. Совсем. Ни шороха капель по крыше. Тишина. Но в доме что-то продолжало звучать.

Кап. Кап. Кап.

Магистр сел на кровати. Пол под босыми ногами был ледяным. Звук все также доносился от входа — из сеней, где была входная дверь.

Он встал. Пошел на шум. Половицы скрипели под ним — каждый шаг отдавался в тишине дома гулко, как выстрел. Вот и дверь на улицу. Она была закрыта на засов изнутри.

Штерн обвел сени взглядом. Пусто. Кадка с водой у стены. Его собственный плащ, повешенный вчера на крюк. Ничего подозрительного. Никого.

Стало светло — серый утренний свет проникал сквозь щели в дверном косяке. И здесь звук стал отчетливым, неоспоримым. Капли падали снаружи, прямо за порогом, на доски крыльца.

Он взялся за засов — железный, холодный, отполированный до блеска частыми прикосновениями. Отодвинул. Потянул дверь на себя.

На кованом гвозде — том самом, что был вбит для оберега, висела туша Цельса. Пёс был прибит к двери. Гвоздь вошел в загривок, пробив жесткую шерсть, кожу, мышцы. Тело обмякло, задние лапы не доставали до пола, передние подогнулись. Горло собаки было перегрызено. Рваная, страшная рана зияла черным провалом, из которого вытекала кровь. Она стекала по собачьей шерсти, по двери, собиралась в тяжелые капли на нижней кромке и падала на доски крыльца.

Кап. Кап. Кап.

Поверх грубого дерева, неровными буквами, в безумный взгляд магистра въедалась надпись:

МНЕ ПОНРАВИЛСЯ ВКУС ТВОИХ ПАЛЬЦЕВ

Магистр Штерн открыл рот, чтобы закричать, — и не смог. Крик застрял в горле, сухой, беззвучный, как в кошмаре, от которого невозможно проснуться.

Кап. Кап. Кап.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ефим Карлович слабо припоминал все что случилось после того, как он открыл злосчастную дверь, и до сего момента. Он словно следил за происходящими событиями со стороны.

Вот он видит себя, Штерна, он сидит на крыльце. На коленях, прямо в луже крови. И прижимает к груди тело собаки. Он качается из стороны в сторону и что-то бормочет.

Что именно — не разобрать.

Рядом хлопочет Аркадий Петрович, пытающийся разжать ему пальцы. Лицо доктора не такое, каким он привык его видеть: не сосредоточенное, не скептическое, не ироничное. Искаженное. С выпученными глазами, с отвисшей челюстью. Кажется, тот выбежал на крик. И смотрел. Смотрел на него, на Штерна.

Он помнил комнату. Его комнату, любезно предоставленную для временного проживания Михаилом Севастьяновичем, старейшиной здешней деревни.

Деревня... Старейшина... Комната.

Его комната, только теперь в ней толпились люди. У окна мялся Платон, бледный до зелени, с закушенной губой. В дверях стоял Захар, навалившись плечом на косяк, и буравил магистра тяжелым взглядом исподлобья. Дед Михей сидел рядом на табурете, положив узловатые руки на колени.

— Я говорил вам... - произнес старейшина.

Аркадий Петрович, до того молчавший, встрепенулся. Кашель, сухой и лающий, разодрал ему горло — он поднес кулак ко рту, согнувшись пополам, и, только отдышавшись, заговорил:

— Так нас встретили! Не иначе. Со многими мы вчера переговорили. Никому здесь не нужно наше присутствие. Но неужели кто-то мог осмелиться... Забрался в дом, пока мы спали. Для запугивания. Чтобы мы убрались отсюда подобру-поздорову. Михаил Севастьянович, вы своих людей в узде не держите! — кипел Вельский.

— Дверь, — сказал магистр.

— Что — дверь?

— Дверь была закрыта изнутри. На засов.

Доктор открыл рот. Закрыл. Кашлянул опять — на этот раз нервно, не от простуды.

— Вы сами его задвинули? — повернулся дед Михей к Штерну. — Вы помните?

Магистр помнил. Смутно, как сквозь туман, но помнил. Да, он задвинул засов. Собственно ручно. Лязг железа о паз до сих пор стоял у него в ушах.

— Вот и я о том, — дед Михей поднял глаза на доктора. — Ежели дверь заперта изнутри — как недоброжелатель внутрь попал? Через трубу печную? Через замочную скважину? Нет, барин.

Никто не прервал старейшину, и он продолжил:

— Вы все вчера сделали как я наказал? Оберег повесили? После третьего колокола не выходили? Не приняли вы сказки старика всерьёз.

Штерн молчал. Потом кивнул.

Дед Михей вздохнул тяжело, всем телом, словно на плечи ему лег невидимый груз.

— Значит, Глаша, — сказал он просто, без драматизма. — Животные, сами по себе, нечистой не нужны. Они их используют только чтобы до людей добраться. Как думаете, зачем им человек?

— Потому что он разумен. — неуверенно ответил Вельский.

— Потому, что только у него есть душа! Зло в первую очередь пытается завладеть не телом, но душой. Тело со временем сгниет, а душа вечна. А чтобы это сделать, в разум любого человека необходимо посеять зерно сомнения. Так легче завладеть сначала им, потом телом...

Ну, и в последствии душой. Вот вы, господа учёные, до сих пор не верили в сказки. А теперь задумаетесь.

Аркадий Петрович снова закашлялся — надрывно, с присвистом, утирая рот платком. Глаза его слезились. Видно было, что сырая ночь не прошла даром: на скулах выступил нездоровый румянец, на лбу блестела испарина.

— Я думаю, — прохрипел он, отсмаркиваясь в платок, — что у нас труп убитого животного, неизвестный злоумышленник на свободе, магистр в глубоком нервном потрясении. А вы мне говорите о колдунье, которая сто лет как мертва?

— Может и не сто лет. Точного времени, как вы понимаете, я не знаю. Но о чем и предлагаю поразмыслить, так о том, что дверь была заперта изнутри, — тихо ответил старейшина. — Остальное осознавайте сами.

Ефим Карлович вернулся из своих воспоминаний о прошедшей ночи и сегодняшнего раннего утра. Теперь, после очередного обхода деревни и попыток выяснить причину страшных событий, которые успехом не увенчались, магистр сидел на крыльце их, с Аркадием Петровичем, дома, и пытался мыслить рационально.

Он посмотрел на свою правую руку. На ладони, у основания пальцев, как будто еще виднелся след — влажный, быстро высыхающий, словно того бесчисленного количества раз, когда он отмывал свои руки, было недостаточно. Собачья слюна? Или чья-то еще? Тот, кто ночью сидел под его кроватью...

Додумать он не успел. Мысль оборвал страшный кашель. На крыльце подле Штерна уже стоял доктор, привалившись к бревнам.

— Я начинаю сомневаться, — произнес Штерн, не поднимая головы.

— В чем именно? — голос доктора звучал глухо, простуженно, но в нем уже теплилась привычная ироничная интонация.

— Во всем. В рациональности происходящего. В пределах применимости научного метода. В собственном рассудке, черт возьми.

Вельский помолчал, потом шумно выдохнул через заложенный нос.

— Ефим, я ценю ваши переживания, действительно, но сейчас мы должны оперировать фактами. Давайте по порядку. Что мы имеем?

Он начался загибать пальцы — механически, как делал это на лекциях в Медицинской коллегии.

— Первое: убита собака. Жестоко, зверски. Второе: на двери оставлена надпись угрожающего характера. Третье: вы, уважаемый коллега, пережили острое нервное потрясение. Это факты. Все остальное — интерпретации.

— А дверь? — тихо спросил Штерн. — Засов, запертый изнутри.

— Могли запомнить. Вы были не в себе. Человеческая память ненадежна — вам ли этого не знать? Вы сами могли отпереть дверь в сомнамбулическом состоянии, выйти, обнаружить труп животного, а потом запереть обратно. Психика вытеснила травмирующие воспоминания — классический случай диссоциативной амнезии.

И, мало ли кто в этой деревне на что способен. Мне кажется они здесь все с отклонениями от нормы. Мы не желательные гости, особенно для старейшины — продолжал доктор.

— А голос, Аркадий? Я слышал голос. Своей матери. Умершей. Тридцать лет назад. Не внутри головы — снаружи. Я физически ощущал колебания воздуха.

Доктор открыл рот, чтобы ответить, но вместо слов из горла вырвался очередной приступ кашля — долгий, мучительный. Он согнулся пополам, плечи затряслись. Когда приступ прошел, Вельский вытер испарину со лба и заговорил медленнее, словно экономя дыхание:

— Акустическая иллюзия. Болотные газы. Известно, что сероводород в определенной концентрации воздействует на височные доли мозга, вызывая слуховые галлюцинации. Добавьте сюда внушенное ожидание — вам целый вечер твердили про голоса и зовущих колдуний. Мозг достроил недостающее. Элементарно.

Аркадий Петрович долго молчал. Потом он заговорил — неожиданно тихо, без обычного своего апломба:

— Мне тоже снились кошмары этой ночью. Я не помню их содержания. Совсем. Только ощущение. Будто кто-то смотрит на меня из бездны.

Он замолчал.

— Возможно, вы правы, — выдавил Вельский наконец. — Возможно, здесь происходит нечто, что мы пока не в состоянии объяснить. Но это не значит, что объяснения нет. Это значит,

что мы его еще не нашли. Я хотел бы сделать нашу работу скорее, на сколько это возможно, и убраться отсюда.

Доктор тяжело оттолкнулся от бревен, закутался плотнее в одеяло. У него на глазах угасал серый, бессолнечный день.

— Однако сейчас нам пора. Дед Михей приглашал к вечеру «на травяной чай». Он обещал, что сам произведёт опрос среди местных. Возможно, ему что-нибудь удастся разузнать о происшествии и всё прояснится. И уж точно нам расскажут «еще одну историю». Не знаю, как вы, а я намерен выслушать. Вдруг, эти дикие байки помогут нам понять здешний народ. В них может быть больше рационального зерна, чем мы полагали.

Он снова закашлялся, и магистр отметил про себя, что доханье стало глубже, влажнее. Простуда явно прогрессировала.

РИТУАЛЫ

Настасья боялась только одного на свете. Не темноты, не волков, не гнева отца. Она боялась засмеяться на похоронах.

Страх этот был старый, постыдный, запятанный глубоко, но всякий раз, когда в деревне кто-то умирал и она, вместе со всеми, облачалась в черное и шла к покойнику, страх этот просыпался и начинал ворочаться где-то под сердцем, как живой.

А все потому, что в голову ей — именно в такие минуты, в самый торжественный, самый скорбный миг — непременно лезли нелепые вещи. То она вспоминала, как соседский козел забрался в огород и вышел оттуда с репой на рогах, похожий на архиерея в митре. То представляла, как покойник — лежащий тут же, в гробу, с восковым лицом и сложенными на животе руками — вдруг чихнет, да так громко, что со стен посыплется столетняя пыль. Она давила в себе эти мысли, кусала губы до крови, отводила глаза, но уголки рта все равно ползли вверх, и тогда Настасья зажмуривалась и изо всех сил думала о чем-нибудь грустном. О том, что и она когда-нибудь умрет. Это помогало.

Она была девушкой тихой, тонкокостной, с пепельной косой. Совсем не хотела никого оскорбить. Но с собой поделаться ничем не могла. Так уж вышло.

Сегодняшний день должен был стать самым счастливым в ее жизни. С Игнатом они сговорились еще на Покров. Он был парень видный, работающий, не болтливый — правда, поговаривали, будто в соседнем уезде он сидел в холодной за кражу, но мало ли что болтают. Ей он казался надежным. Кольцо, которое он ей приготовил, — тонкое, серебряное, с бирюзовым камешком, — по слухам, было фамильное, от бабки. Оно лежало у него в кармане, и Настасья знала, что сегодня оно окажется на ее пальце. От одной этой мысли хотелось петь.

Но все пошло не так.

Намедни умер старик Панкрат. Дряхлый, ветхий — он и до смерти-то в основном лежал, так что разницы никто особо не заметил. Однако смерть есть смерть.

Еда была заготовлена, половина деревни уже несла к дому невесты пироги и соленья, все приготовления окончены.

Старейшина сказал, как отрезал:

— Оба обряда в один день проведем. Так мне сподручнее. Два раза туды-сюды через всю деревню не ходить. Ноги у меня не казенные.

Церкви не было — старая стореда лет двадцать назад, а новую строить было не на что. Все обряды вёл староста Кузьма — грузный мужик, который когда-то недоучился на дьячка и потому знал наизусть несколько молитв, перемежая их народными заговорами. Жители привыкли. Рождались, женились, умирали — и всё под бормотание Кузьмы, густое от самогонной сивухи.

Настасья обмерла. Дурная примета, жизнь со смертью в один день. Хуже некуда. Она попыталась возразить — сначала тихо, потом в голос, — но бабы зашикали: «Не перечь, дура, Кузьма слова не меняет, еще обидится и вовсе венчать не станет». Пришлось смириться.

Утро выдалось серым, безветренным, душным. Свадьбу справляли в общем доме — длинной избе с прокопченными балками, где обычно собирали сходы. Гости расселись по лавкам: с одной стороны — свадебные, с хмелем и пирогами, с другой — печальные, в темных платках, пришедшие проститься с Панкратом. Гроб стоял тут же, в углу, на двух табуретах. Пахло воском и кислой капустой.

Староста Кузьма встал посреди избы, развернул засаленную книгу и начал обряд. Читал он вперемешку: два слова из венчального чина, потом заплетающимся языком переходил на заупокойную молитву, снова возвращался к молодым. Лента с головы невесты соседствовала с траурным покрывом на лбу покойника.

Обряды чередовались.

Сначала венчание.

Игнат надел кольцо на палец Настасьи. Оно село туго, неловко — сдавило, словно железный обруч. Девушка дернула рукой, хотела поправить, но Игнат сжал ее запястье и шепнул: «Терпи». Она стерпела.

Потом — отпевание. Старик лежал жёлтый, как пергамент, с медным крестом на груди.

— Согласна ли ты, раба Божия Анастасия... — бубнил Кузьма.

Настасья стояла рядом с Игнатом и чувствовала, как кольцо на пальце пульсирует — словно под ним билась живая жилка. Ей казалось, что оно становится меньше. Что кость вот-вот хрустнет.

Гости крикнули «горько», и молодые неумело поцеловались. Девушке показалось, что от губ жениха пахнет землёй.

Кузьма захлопнул книгу на середине и затянул «Со святыми упокой» — фальшиво, но громко.

Настасья перевела взгляд на гроб и вдруг ей показалось, что у старика на левой руке недостаёт фаланги мизинца. В голове ее мелькнула нелепая мысль: «Кольцо бы ему тоже было мало». Губы дрогнули. Она прикусила щеку изнутри.

И тут началось.

Старуха, читавшая Псалтырь, запнулась на слове «беззаконие», и Настасья вдруг с ужающей отчетливостью представила, как покойник садится в гробу и строго так, по-учительски, говорит: «Без-за-ко-ние, а не без-за-конье, дура старая». Картинка была такой живой, такой нелепой, что улыбка сама выползла на губы. Настасья прикусила язык. Боль отрезвляла.

Кольцо резало палец все сильнее. Под ним, она знала, уже образовалась красная полоса, и от этого знания делалось еще невыносимее. Девушка вцепилась в подол до белых костяшек. На глазах выступили слёзы.

Траурная половина собравшихся попрощалась с покойником. Гроб начали опускать в землю. Веревки скрипели в руках мужиков. Комья глины тяжело падали вниз с глухим стуком.

Смех.

Жуткий, неуместный, сводящий челюсти смех, который сдерживался годами.

Неудержимый, он вырвался из груди нее, как воздух из проколотого пузыря, — внезапный, громкий, захлебывающийся. Настасья зажала рот рукой, но смех просачивался сквозь пальцы. Она согнулась пополам, плечи затряслись. Бабы обернулись. Игнат смотрел на нее круглыми, ничего не понимающими глазами. А она смеялась все громче, все отчаяннее, и слезы катились по щекам. Вокруг что-то кричали. Ничего не разобрать. Только смех раздавался раскатами грома.

Уголки рта ее обрамилась кровавыми ранками. Губы стали сухими и бледными.

А кольцо — кольцо вгрызалось в палец, и боль была такая, что перекрывала всё. Настасья, не переставая смеяться, начала расчесывать кожу вокруг кольца ногтями. Сперва просто царапала до язвы, потом драла, потом рвала. Кровь потекла по пальцам, закапала на подол. Она хотела снять, стянуть, но кольцо не двигалось. Палец распух, костяшка посинела. Она царапала глубже, глубже, пока под ногтями не мелькнуло белое. Она расчесала палец до кости, но кольцо так и не сняла.

В голове невесты всплывали глупые картины, одна за другой: дед Панкрат сидит в гробу, открывает глаз и говорит: «А мне без пальца кольца не носить». И ещё: староста Кузьма роняет гроб и сам падает в могилу, а все хохочут.

Гости оцепенели. Мать невесты кричала. Кто-то перекрещивался. А Настасья всё не могла остановиться. Смех перешёл в вой, в какое-то животное взлаивание, плечи тряслись, грудь ходила ходуном. На голове проступил седой локон. Кольцо горело огнём — нестерпимо,

будто его раскалили в печи. Палец превратился в кровавую культю, но кольцо не двигалось — оно словно прикипело.

Игнат бросился к ней, но та отшатнулась. В широко раскрытых глазах её бушевал ужас. Она смотрела на жениха, тыча окровавленным пальцем в его сторону.

— Ты... ты... — выдыхала она сквозь хохот.

Больше она ничего не сказала. Смех оборвался так же внезапно, как начался. Настасья пошатнулась, схватилась за горло и рухнула лицом в сухую траву у края могилы. Когда её перевернули, глаза уже остекленели, а на губах застыла улыбка.

Сердце не выдержало. Так сказал старейшина.

А через три дня на постоялом дворе в уезде взяли Игната. Он пытался продать проезжему купцу серебряный крест и два перстня с камнями. Оказалось, старик Панкрат не сам помер. Так, за день до смерти он, обычно не выходивший из дома, вдруг пришёл на деревенский сход и обмолвился при людях, что перебирал старые вещи и нашёл материнское приданое — «Вот женю кого — тому и отдам», — пошутил старик. Среди слушавших был и Игнат. Он напоил старика, улучил момент и придушил подушкой, так что и следов не осталось. Забрал у него из сундучка все, что было ценного. Крест нательный, два перстня. И кольцо. То самое.

Фамильное-то, бабкино, он пропил годом раньше, а это было с мертвого пальца. Проклятое.

Выходило, что Настасья надела кольцо, снятое с ещё живого — или только что умершего — старика. С чужой руки, с неостывшим ещё проклятием. И кольцо это помнило своего хозяина. И венчальная молитва, спутанная с заукойной, скрепила не союз мужа и жены, а союз мертвеца и живой души, над которой он получил власть.

Игната судили губернским судом. Он во всём сознался, но твердил одно: он не знал, что кольцо сделает с нею такое. Верили ему или нет — теперь уже значения не имело. Настасью похоронили под белым венцом, который она так и не сняла. На лицо ей накиннули плат — чтобы не видеть улыбки, которая даже в гробу никуда не делась.

Вот так-то.

Дед Михай замолчал и пододвинул ученым по второй кружке травяного чая, очень специфического вкуса. Лучина потрескивала. За окнами его избы стояла серая, дождливая хмарь, которая препятствовала добротнo опросить всех немногочисленных жителей деревни. Никто не видел ничего необычного этой ночью. Все говорили одно и тоже: «только дурачок осмелится выходить из хаты после третьего звона», о чем старейшина ответственно отрапортовал должностным лицам, по их прибытию в его дом. А теперь он делал то, что умел лучше всего - коротал время гостей рассказами.

— История эта правдива. Задокументирована, так сказать, здешними. В наших устах она живет как предостережение для потомков.

— Мы бы с удовольствием посмотрели на настоящие документы... — начал Вельский.

— Предостережение? От чего? - перебил доктора Ефим Карлович.

— Случилось это при давнишним старосте. Я тогда мальчишкой был. Ошибки отцов научили, что каждому ритуалу отведено свое время, без хитросплетений. Что в любом суеверии имеется здравый смысл, ведь каждый предрассудок уродается без заблаговременного сговора, спонтанно. Люди независимо друг от друга просто обращают внимание на знаки и проявления в мире, затем соотносят их с определёнными событиями. А нет ничего реальнее, чем мир вокруг нас. Рассказ этот хотя бы учит, что красть и убивать — это плохо. Учит получше любого указа.

— Интересная байка, как проявление фольклора — задумчиво протянул Ефим Карлович.

— К чему вы нам эту историю рассказали? Как она соотносится с нами? — спросил Аркадий Петрович. Голос его звучал хрипло, в горле булькало.

— А к тому, господин доктор, — старейшина поднял на него выцветшие глаза, — что я вчера вам про голод рассказал, про Савелия, и вы решили, что все зло — в человеке. В его душе. А сегодня вы услышали про большее зло, которое порождается меньшим, но при этом ни одно из этих зол не исчезает бесследно, само по себе. Чтобы вы поняли: иногда то, что взято с мертвого, хранит его последнюю муку. И эта мука ищет выход.

Он перевел взгляд на магистра. Штерн сидел и смотрел на свои руки.

— Глаша тоже была женщиной. Когда-то. У нее тоже были обиды. Тоже было что-то, что она не смогла простить.

Дед Михай взял кружку, отхлебнув горьковатый чай.

НЕПРОЩЕННЫЕ

Дождь перестал, и небо над Глухим логом очистилось — но не до звезд, а до той особенной, глубокой черноты, какая бывает в безлунные ночи. В доме старейшины было тепло и сухо. Пахло воском, сушеным зверобоем, старой бумагой и ... свежей краской. По наблюдениям учёных, сыновья Михаила Севостьяновича без дела не сидели, и всегда были заняты домашними хлопотами, позволяя себе отдохнуть только в перерывах на прием пищи или ночной сон.

— Вот, — дед Михай с видимым усилием водрузил на стол пузатый сундучок, обитый по углам медными полосами. — Архив наш деревенский. Кое-что от батюшки покойного, кое-что от деда. Я туда уж лет десять не заглядывал. А нынче, после вашего приезда, решил — пора. Сами глядите. Может, чего и поймете.

А я вас пока что оставлю, помогу Захару с Платоном.

Ефим Карлович заметно оживился. Пыльные манускрипты, пусть даже самого дикого содержания, были для него куда понятнее, чем живое общение. Он бережно, кончиками пальцев, извлек из сундучка первую связку — ветхие листы, сшитые суровой ниткой через край. Почерк был неровный, прыгающий, с вычурными завитушками — писал явно человек духовного звания, но не слишком грамотный.

Штерн пробежал глазами по первой странице и невольно хмыкнул — звук получился нервный, невеселый.

— Что там? — спросил доктор.

— «Наставление о том, как распознать лешего в человеческом облике и как от него обороняться», — зачитал магистр вслух. — Тут целая классификация. Леший, дескать, отличается от человека тем, что левый глаз у него всегда светлее правого, а пуговицы застегнуты наоборот. Креста не боится, но страшится петушиного крика. В лесу надлежит... — он перевернул страницу, — ...носить одежду наизнанку и не откликаться на зов, пока не убедишься, что зовут крещеным голосом.

— Рациональное зерно, — кашлянув, заметил Вельский. — Дезориентация в пространстве. Лесная глушь, болотные испарения, человек пугается, ему мерещится невесть что. Любопытно.

— А у меня тут про упырей, — Штерн перебрал еще несколько листов. — «Ежели мертвяк встает из могилы и ходит по дворам — надлежит вбить ему осиновый кол в грудь на семь вершков. Ежели не помогает — отсечь голову и положить промеж ног лицом вниз». Семь вершков. Поразительная точность.

Дед Михай, уже хлопотавший по дому, вдруг подал голос из соседней комнаты:

— Восемь.

— Что?

— Восемь вершков, — повторил старейшина, откуда-то из помещения. — Дед мой один раз ошибся — шесть с половиной вбил. Так тот упырь встал через три дня и пришел к нашему двору. Пришлось переделывать. С тех пор — восемь.

Аркадий Петрович хотел возразить, но дед Михай уже вышел за входную дверь. Магистр углубился в чтение. По мере того, как он перебирал документ за документом, лицо его менялось. Эта была не просто коллекция суеверий — это был подробный, систематизированный свод правил. Почти наука. Почти юриспруденция. В одном свитке описывались повадки лесных русалок, в другом — способы задобрить домового, в третьем — приметы, по которым можно отличить волколака от обычного волка. И все это было изложено деловым, будничным тоном, без тени сомнения в реальности описываемого.

— Послушайте, Аркадий — Ефим Карлович поднял очередной лист ближе к огню. — «Баба Агафья, двор за околицей, согрешила с соседским мужиком Фомою, мужем Варвариным. Баловались они у ведьминой ели...»

— Так — доктор с интересом подвинулся ближе.

— Да. «...и понесла Агафья от той связи, и стало это достоянием деревни. А как пришло время ягниться овцам в ее хозяйстве — вышла из утробы овечьей тварь о двух головах. И сказал я Агафье: утопи. А она пожалела, оставила. Через седмицу та овца досуха высосала мамку свою. Еще через полгода извела все стадо, так что осталась одна. И стали две головы меж собой враждовать. Одна норовила у другой горло перекусить. Наутро нашли тварь мертвую: одна голова удавила другую, зубами вгрызлась в шею, да сама от потери крови издохла».

Магистр замолчал. Доктор смотрел в стену.

— Мораль истории очевидна, — выдавил наконец Аркадий Петрович. — Факты. Уродство плода объясняется близкородственным скрещиванием овец, а агрессивное поведение — следствие патологии мозга. И не при чем здесь ведьмина ель.

Ефим Карлович перевернул еще несколько страниц.

— «Приехал в деревню работник горного департамента из соседней губернии, — читал он дальше. — Задач своих не выполнял. Девоч портил. Обычаев не чтит, над старухами насмехался. И влюбился он в деву нездешнюю. Откуда она, где живет — никто не знал. А только оказалась она русалкой с лесного озера. Увела его к воде. Нашли тело истерзанное. Сказывают, русалка к нему и пальцем не прикоснулась, а лишь голову затуманила. И одолела его неудержимая страсть первобытная, да такая, что он в беспамятстве, в порыве наслаждения сам оторвал от себя кусок живой плоти, что силу мужскую сосредотачивает, и помер в мучениях».

— Что ещё? - поинтересовался доктор.

— Продолжим.

Журнал лесного обхода за **89 год. На полях, корявым почерком:

«Марфа-травница сказывала: к Ели на Купалу не ходить. В прошлом годе девку там нашли, всю зареванную. Не могла остановиться, глаза терла, веки в кровь содрала. Рыдала, слово едва молвила, пока сердце не лопнуло. Состарилась, кожа как у бабки Ефросиньи стала за ночь, а было девке осмнадцать годков. Спрашивали — кто ты? Отвечала: «Я — та, кто в дереве живет. К утру померла. Хоронили с осиновым колом в груди, но кол к вечеру сам вышел из могилы. Лежал рядом, чистый, как облизанный».

Письмо уездного лекаря, датированное 1***(*неразборчиво*) годом:

«Любезный Севостьян Спиридонович. Посылаю Вам выписку из немецкого трактата о грибковых спорах. Однако ж смущает меня Ваше замечание, что беснование начиналось не после застолья, а после того, как народ устроил гуляния у болотного озера, когда из дупла, бабы слышали пение. Боюсь, тут моя наука бессильна. Рекомендую ель спилить и пень сжечь с молитвой. Чего и Вам советую.

P.S.

Жена моя, прочитав Ваше письмо, три ночи не спала. Говорит — в нашем саду старая яблоня скрипит по ночам, словно смеется».

Штерн отложил лист. Повисло молчание.

— И таких историй, — магистр кивнул на сундучок, — там еще много. Десятка три наберется. Может, больше.

Доктор поднялся. Кашель снова скрутил его — на этот раз надолго. Отдышавшись, он подошел к столу и перебрал несколько листов. Пробежал глазами один документ, другой, третий. Остановился. Снял очки. Протер. Надел снова.

— Знаете, что я вижу в этих бумагах? — спросил он тихо, почти обреченно.

— Суеверие? — предположил магистр.

— Нет, — доктор покачал головой. — Я вижу юриспруденцию. Самую настоящую. Свод правил и прецедентов. «Если сделаешь так — будет — то». «Если нарушишь запрет — последует кара». Причина и следствие. Четкая, непротиворечивая система. У них тут все регламентировано — от поведения на болотах до зачатия детей. Не в законнике. Не в молитве. В этих вот бумагах. Это... — он запнулся, подбирая слово, — ...это альтернативная религия, если угодно. Выросшая не из Откровения, а из опыта жизни в этих глухих местах. Из векового опыта выживания в месте, где... — он снова закашлялся, — ...где что-то не так.

В проходе неожиданно возник старейшина, он заговорил, так, будто и не покидал это помещение.

— Вот именно, господин доктор. Вы верно поняли. Не было у нас церкви. Не было попа. Никто нас не учил, как жить. Мы сами учились. Методом пробы и ошибки. И записывали пробы. И перечитывали ошибки. Чтобы не повторить.

Он помолчали добавил:

— Со временем люди обуздали неведомую силу. Не победили — обуздали. Научились договариваться. Задобрять. Если соблюдать все правила — плохого не случится. Не ходить после третьего звона. Не воровать, даже у мертвых. Все просто. Как у вас в городе.

— Но это же клетка, — тихо сказал магистр. — Это же жизнь в постоянном страхе. В постоянной оглядке. Нельзя туда, нельзя сюда. Везде табу. Везде запрет.

— Клетка? — дед Михей усмехнулся в усы и покачал головой. — А ваша наука, господин магистр, — не клетка? А ваши законы, не клетка? Вашему ученому в городе нож в повседневности также необходим, как нашему охотнику в лесу грамматика.

Ефим Карлович дернулся, хотел ответить, но сразу не смог найти подходящие слова.

— То-то и оно, — старейшина вздохнул и начал собирать бумаги обратно в сундучок. — Мы нашли способ жить. Не самый сладкий, зато верный. А вы к нам приехали со своей наукой и думаете, что все можно переписать набело. Нельзя. Тут, — он похлопал ладонью по сундучку, — двести лет опыта. Кровью писано. Уважать надо.

Над столом снова повисло молчание. Лишь лучина потрескивала да где-то в углу сверчок завел свою бесконечную, монотонную песню. Потом дед Михей поднялся, взял с полки небольшой глиняный кувшинчик.

— А теперь — довольно рассказов, — сказал он. — Давайте ужинать.

— С удовольствием! — оживился Вельский.

— Я тоже. — согласился магистр Штерн — но я бы послушал еще одну историю. Вся мистика в ваших словах, так или иначе вращается вокруг этой, так называемой ведьмы. Глаши. Вы говорили, что при жизни она затаила обиду, или злобу на людей.

— Да. При жизни, перед самой своей смертью.

— Расскажите нам Михаил Севостьянович. В ваших документах, об этом мы не нашли ни слова.

— Об этом нет в архивах. История темная. Такие ученые мужи как вы, сказали бы что это доказательство убийства, за которое никто так и не понес наказание. Наказание в стезе правосудия. — он выдержал паузу. — Хорошо. Пока мои сыновья готовят на стол, у нас есть время. — старейшина кинул взгляд в сторону Захара, который расценил этот жест как упрек со стороны отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.